ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ОТРОЧЕСТВО

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 2

Полное собрание сочинений. Том 2. Отрочество

Лев Николаевич Толстой

Лев Николаевич Толстой. Отрочество.
Предисловие к электронному изданию
Фототипия с фотографического портрета Толстого 1855 (?) г. (размер подлинника) между XII и 1 стр.
ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.
ГЛАВА II. ГРОЗА.
ГЛАВА III. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.
ГЛАВА IV. В МОСКВЕ.
ГЛАВА V. СТАРШИЙ БРАТ.
ГЛАВА VI. МАША.
ГЛАВА VII. ДРОБЬ.
ГЛАВА VIII. ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.
ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.
ГЛАВА X. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ГЛАВА XI. ЕДИНИЦА.
ГЛАВА XII. КЛЮЧИК
ГЛАВА XIII. ИЗМЕННИЦА.
ГЛАВА XIV. ЗАТМЕНИЕ.
ГЛАВА XV. МЕЧТЫ.
ГЛАВА XVI. ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ.
ГЛАВА XVII. НЕНАВИСТЬ.

ГЛАВА XVIII. ДЕВИЧЬЯ.
ГЛАВА XIX. ОТРОЧЕСТВО.
ГЛАВА XX. ВОЛОДЯ.
ГЛАВА XXI. КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА.
ГЛАВА XXII. ПАПА
ГЛАВА XXIII. БАБУШКА.
ГЛАВА XXIV. Я.
ГЛАВА XXV. ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ.
ГЛАВА XXVI. РАССУЖДЕНИЯ.
ГЛАВА XXVII. НАЧАЛО ДРУЖБЫ.
КОММЕНТАРИИ.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Лев Николаевич Толстой. Отрочество.

Государственное издательство «Художественная литература»
Москва — 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик».
Организаторы:
Государственный музей Л.Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 2-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой
Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 2-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Перепечатка разрешается безвозмездно

–

Reproduction libre pour tous les pays.

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером — компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY

FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца — второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Фототипия с фотографического портрета Толстого 1855 (?) г. (размер подлинника) между XII и 1 стр.



Л. Н. ТОЛСТОЙ
1855 (?) г.

ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.

Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома; один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и брычку.

«Ну Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи, одна за другой, бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью — но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства — довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и всё уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он

неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька форейтор: на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевитые от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцей отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка отворяет скрыпящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые

резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками, и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец, отворяется дверь, и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как всё это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только-что поднялось над сплошным

белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Всё так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно.... Дорога широкой, дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракита, или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги.... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я, по каким-нибудь обстоятельствам, забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастие, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое

внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные, косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади,

у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень ямщик и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастия быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под

рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается — и мне приходят мысли, что верно эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?…

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цыфры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Всё мое внимание обращается на верстовые столбы и на цыфры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

— Василий, — говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах — пусти меня на козлы, голубчик. — Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая

приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везет, — говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать, — говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание: — не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу

Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар всё усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимать темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий, с удивительной ловкостью, на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда в перегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через

рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устроиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать, при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней — дымом, дегтем, баранками, послышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпрру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на

двор. Четыре часа отдыха и свободы!

ГЛАВА II. ГРОЗА.

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Всё мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на

постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка, вдалеке, вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настороживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся

какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дос-

чатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.

Тпру! оторвался валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я, с захватывающим дыхание замиранием сердца, безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевитой культяпкой, вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

«Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста-ради», звучит

болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего…

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда всё уже готово, и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только-что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя… другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья, я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий,

продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста-ради». Наконец, медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, — в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил, как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катушками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочек ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого, прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже

не боюсь ее. Я испытываю невыразимо-отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — всё мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса, после весенней грозы, запах

березы, фиялки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи, и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи: — посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

ГЛАВА III. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву, — сказал я: — как ты думаешь, какая она?

— Не знаю, — отвечала она нехотя.

— Ну всё-таки как ты думаешь: больше Серпухова или нет?...

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого, и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Maman говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Всё-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы…

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает…»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцовал.... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания: — ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцовал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи, по правде,– при-

бавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней: — отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее: — я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде, — продолжал я: — прежде видно было, что ты во всем с нами за одно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас…

— Совсем нет….

— Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль: — ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять всё какою-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отве-

чала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе, — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, всё-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными по моим тогдашним понятиям могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароилось в моей голове, и мне стало так совестно, что мы

богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я, — и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права, и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я: — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю…

— В актрисы пойдешь.... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой…

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи

совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз, во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смот-

рели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

ГЛАВА IV. В МОСКВЕ.

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцалуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами, и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, — вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом,

старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой*, и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти по середине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уж свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресение вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне, и теперь всё пойдет иначе.

ГЛАВА V. СТАРШИЙ БРАТ.

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и всё это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался

скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько не досказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но может быть меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому, то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам… Я невольно увлекался его страстями; но был слиш-

ком горд, чтобы итти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благороднооткровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика: — а где флакончик? непременно ты…

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?– Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста *не командуй*, — отвечал я. — Разбил, так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне *чего*, — продолжал

Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа: — разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

— Я мальчишка; а ты большой да глупый.

— Не намерен с тобой браниться, — сказал Володя, слегка отталкивая меня: — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!», и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!... — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну теперь всё кончено между нами, — думал я, выходя из комнаты: — мы на век поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего

класса истории, я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом: — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь всё выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости… ме…ня, Вол….дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах….

ГЛАВА VI. МАША.

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастие.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас — я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь

ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы, и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна прийдет — разве хорошо будет?»

«Не прийдет», — шопотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!», и Маша, с сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствия поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подра-

жать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием, прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцаловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой… отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится….» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и всё на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого

разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, т. е. старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя, и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

ГЛАВА VII. ДРОБЬ.

— Боже мой, порох!... — воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. — Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас....

И с неописанным выражением твердости духа, Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда по ее мнению опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду, и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», — проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля, и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была

дробь, и что бабушке уже всё известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький, рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные, миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс — *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

— Как себя чувствуете нынче, maman? хорошо ли почивали? — сказал папа, почтительно целуя ее руку.

— Прекрасно, мой милый; кажется знаете, что я всегда совершенно здорова, — отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. — Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? — продолжала она, обращаясь к Гаше.

— Я вам подала, — отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Время будет, так натру.

— Что вы говорите?

— Натру нынче.

— Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут, — проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый, — сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты: — как со мной говорят в моем доме?

— Позвольте, maman, я сам натру вам табак, — сказал папа, приведенный, повидимому, в большое затруднение этим неожиданным об-

ращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю Вы знаете, мой милый, — продолжала бабушка, после минутного молчания: — что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им, — сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

— Да это дробь, maman, — сказал он: — это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком....

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*, — сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово *дядька*: — что́ он смотрит?

— Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*, — подхватила Мими.

— Ну вот видите, какой он хороший, — продолжала бабушка: — и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

— Я его отпустил в гости, — сказал папа.

— Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, — продолжала бабушка: — но кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки — она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

— Я давно уже думал об этом, — поспешил сказать папа: — и хотел посоветоваться с вами, maman: не пригласить ли нам St.-Jérôme, который теперь по билетам дает им уроки?

— И прекрасно сделаешь, мой друг, — сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде: — St.-Jérôme по крайней

мере gouverneur, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison,[1] а не простой menin, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

— Я завтра же поговорю с ним, — сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора, Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

1 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 1
[детей из хорошей семьи,]

ГЛАВА VIII. ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, — сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял

его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог всё видит и всё знает, и на всё Его святая воля, — сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. — Да, Николенька, — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него: — моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, — сказал он, указывая на небо. — Когда б вы знали мою историю и всё, что я перенес в этой жизни!… Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, — заключил он, и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и всё, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, кото-

рый вас очень любил, дети!...

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным, горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

– *Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри.* Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter! — повторил он еще с бóльшим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно-неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово; разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история, или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни — не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно

было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «с этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда в мою комнату», и она потихоньку цаловала меня. «Бедный, бедный Карл! — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька — говорила она мне: — учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte

nur ein ehrlicher Deutscher zu werden — sagte sie — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет, и я мог итти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; чтò мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «я не знаю». Тогда маменька сказала: «отдадим его в город к г. Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал «хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!»,[2] но.... человек предполагает, а Бог располагает.... в 1796 году была назначена Conscription,[3] и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года должны были собраться в город.

«Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Loos,[4] кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил

---

2 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 2
[подмастерьем!]

3 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 3
[рекрутский набор,]

4 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 4
[жребий,]

хороший нумеро — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «у меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

«Я взял его за руку и сказал: «зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»,[5] — я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

« — Папенька! — я сказал: — не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить — я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

« — Вы честный человек, Карл Иваныч! — сказал мне папенька и поцаловал меня. — Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und küsste mich.

«И я был Soldat!»

---

5 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 5
[кружек пива,]

ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

«Тогда было страшное время, Николенька, — продолжал Карл Иваныч, — тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir vertheidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

«Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него. — Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadir отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon,[6] и я пустил его!

«Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое

---

6 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 6

[но француз бросил свое ружье и запросил пардону,]

суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

«На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat всё взял у меня. На мое счастье у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

«В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Г. сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите пожалуйста две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «хорошо». Когда сержант принес мадер, и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Г. сержант, может быть у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «есть, г. Мауер…» — «Мой отец и мать — я сказал — восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О, г. сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их

и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога».

«Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Г. Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «г. сержант!» ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

«И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

«Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихонько вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

«Часовой ходил с ружьем auf und ab[7] и смотрел на меня. «Qui vive?» sagte er auf einmal,[8] и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum zweiten Mal, и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum dritten Mal, *и я бегал. Я пригнул в вода, влезал на другой сторона*

---

7 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 7
[взад и вперед]

8 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 8
[Кто идет? — спросил он вдруг,]

и пустил. Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

«Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem Allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

«Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек — он сказал — куда вы идете так поздно?» Я сказал: «я иду в Франкфурт». — «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас.... Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита, и платье ваше в грязи?» — сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек — я сказал — хочу наняться где-нибудь на *фабрик*; а платье мое в грязи оттого, что я упал

на дороге». — «Вы говорите неправду, молодой человек, — сказал он, — по дороге теперь сухо».

«И я молчал.

« — Скажите мне всю правду, — сказал мне добрый человек: — кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

«И я всё сказал ему. Он сказал: «хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

«И я сказал: «хорошо».

«Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».

«Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос.... и Madame L.... (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

«Когда она *видела* меня, она *сказала*: «Г. Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».

«И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».

«Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцалуйте меня».

«Я *его* поцаловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», и он весь задрожал».

Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да, — начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, — много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель, — сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью, — никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал г. L..., и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и по-

тихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

ГЛАВА X. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук — подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «можно выпить рюмочку ликер?», и она сказала: «Vater! молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*». Я сказал: «я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien». — «Наш сын, — сказал па-

пенька, — был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...» Я курил свою трубочку и сказал: «как звали вашего сына, и где он служил? может быть я знаю его...» — «Его звали Карл Мауер, и он служил в Австрийских егерях», сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», сказала сестра Mariechen. Я сказал: «я знаю вашего Karl». — Amalia! — sagte auf einmal mein Vater[9] — подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl», он сказал, посмотрил на мене и весь бледны за... дро...жал!...* «Да, я видел его», я сказал, и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня *пригнуть* хотело. «Karl мой жив! — сказала маменька, — слава Богу. Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого», и *он* заплакал... *Я не мог терпейть...* Маменька! — я сказал, — я ваш Карл! *И он упал мне на рука....*»

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

---

9 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 9
[сказал вдруг мой отец]

«Mutter! — sagte ich, — ich bin ihr Sohn, ich bin ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»,[10] повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастие! das Unglück verfolgte mich überall!...[11] Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Ueberrock,[12] пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter[13] прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «кто там?» «Macht

---

10 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 10
[«Маменька! — сказал я, — я ваш сын, ваш Карл!» и она бросилась в мои объятия,]

11 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 11
[несчастье повсюду меня преследовало!]

12 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 12
[сюртуке,]

13 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 13
[ночной сторож]

auf!»[14] Я сказал: «скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen». «Macht auf im Namen des Gesetzes!»[15] сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Ueberrock,[16] который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!... «Пойдемте со мной!» сказал шпион. «Хорошо», я сказал.... Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело: я сказал — он подлец! Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «*ты шпион; зашишайся!* du bist ein Spion, vertheidige dich!» Ich gab ein Hieb[17] направо, ein Hieb налево *и один на галава. Шпион упал!* Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems,[18] там я

---

14 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 14
[Отворите!]

15 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 15
[Отворите именем закона!]

16 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 16
[сюртуке,]

17 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 17
[Я нанес один удар]

18 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 18
[Я пришел в Эмс]

познакомился с *енерал Сазин*. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда *енерал Сазин* умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и всё забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь на старости лет итти на улицу искать свой черствый кусок хлеба… *Бог сей видит и сей знает и на сей Его святое воля, только вас жалько мне, детьи!*» заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и цалуя в голову.

ГЛАВА XI. ЕДИНИЦА.

По окончании годичного траура, бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось всё это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Géographie;[19] и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить прежде, чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти, и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.

---

19 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 19

[Понедельник от 2 до 3 — учитель истории и географии ;]

— Кажется, Лебедев нынче не придет, — сказал Володя, отрываясь на минуту от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай Бог, дай Бог.... а то я ровно ничего не знаю.... однако, кажется, вон он идет, — прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

— Нет, это не он, это какой-то *барин*, — сказал он. — Подождем еще до половины третьего, — прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий.– Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убрать тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить, — сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более, что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком-бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда

казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и отдуваясь сел на свое место.

— Ну-с, господа, — сказал он, потирая одну о другую свои потные руки: — пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

В то время как Володя отвечал ему с свободой

и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было итти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только-что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений — за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

— Нет, это уж ни на что не похоже! — сказала Мими, — что вы здесь делали? — Я помолчал. — Нет, это так не останется, — повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы, — я всё расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради, и Во-

лодя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что всё кончено, и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полу-улыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с, — сказал он, потирая руки.

— Выучил-с, — отвечал я

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, — сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу; — потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь; — и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову на бок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и

всё молчал.

— Позвольте перышко, — сказал мне учитель, протягивая руку.– Оно пригодится. Ну-с.

— Людо.... кар.... Лудовик Святой был.... был.... был.... добрый и умный царь....

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

— Как ее звали-с?

— Б.... б....ланка.

— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать всё, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал итти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мои слова.

— Затем… потому… оттого, затем что…

Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я всё-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмокнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михаил Ларионыч! — сказал я.

— Нет, — отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему: — так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастие.

— Класс кончен? — спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да, — сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— A Nicolas?

Я молчал.

— Кажется, четыре, — сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти, хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— Voyons, Messieurs[20] (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre

---

20 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 20

[Ну же, господа]

toilette et descendons.[21]

21 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 21
[займитесь вашим туалетом, и идемте вниз.]

ГЛАВА XII. КЛЮЧИК

Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бомбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко, — сказал он мне. — Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?... Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфекты в бумаге и принесешь всё сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных ве-

щей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле....

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то в роде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства, я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне видно

суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme — за единицу, папа — за ключик.... и всё это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — Э! — сказал я сам себе, доставая конфекты и сигары: — *чему быть, тому не миновать*.... И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно-успокоивающее влияние.

Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

ГЛАВА XIII. ИЗМЕННИЦА.

После обеда начались petits jeux, и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился, и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит

меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase*.[22] Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз

---

22 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 22
[Длинный нос.]

должны были говорить: *Кто еще остается? «Да Николенъка; ну вот ты его и возьми»*. Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжен и, к несчастию, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидал следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» — говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним точно виноватая и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, m-lle Catherine?» — «Я люблю правду, — отвечала Катенька, — проиграла пари, ma chère».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцаловал Сонечку. Так прямо и поцаловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! О, *коварная изменница*!

ГЛАВА XIV. ЗАТМЕНИЕ.

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'а другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, т.-е. находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность

самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить; но *так* — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. — Под влиянием этого же временного отсутствия мысли, — рассеянности почти, — крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только-что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любо-

пытства, человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому всё общество чувствует подобострастное уважение и думать: а что ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдем»?

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости

— C'est bien,[23] — сказал он, догоняя меня: — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его

---

23 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 23
[Хорошо,]

слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица, и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только-что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы: — никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне и, не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько

раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette,[24] которой душился St.-Jérôme.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал *он* отвратительным, торжествующим голосом: — принеси розог.

24 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 24
[фиалок,]

ГЛАВА XV. МЕЧТЫ.

Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?...

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или по крайней мере мне так казалось, от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-по-малу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме всё пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое как камень лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем

расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? — говорю я сам себе, — завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «что ж

делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, — ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя», и я скажу ему : «папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на всё. Я убью его», так и сказать: «папа! я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему — «нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня», и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de Dieu soit faite!»[25] И я, сидя на сундуке, в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты

25 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 25

[О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословление, и да совершится воля божия!]

мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *Государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «благодарю тебя. Я всё сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «я счастлив, великий Государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'a». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'ом и говорю ему:

«ты сделал мое несчастие, à genoux!»[26] Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю Его, за что он наказывает меня? «Я кажется не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, что бы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости Провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти

---

26 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 26
[на колени!]

ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», скажет папа со слезами на глазах — «Да — скажет St.-Jérôme — но большой повеса». — «Вы бы должны уважать мертвых — скажет папа — вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему… Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней, душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя. И мне отвечает ее голос: «здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу цаловать твоих рук… «Не надо этого, здесь и так прекрасно», говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим всё выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и

нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы всё летим выше и выше*. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

ГЛАВА XVI. ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ.

Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, т. е. в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокоиваться. Но уединение всё-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь всё, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а

Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал, и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошел в комнату.

— Пойдемте к бабушке, — сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде, чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о

наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня чрез залу, точно о тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцаловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый, — сказала она, после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки: — могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Mr St.-Jérôme, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово: — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны, — продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно: — за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю

думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства… Проси сейчас прощения, — прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'a: — слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Коко! — сказала бабушка, должно быть заметив внутренние страдания, которые я испытывал. — Коко, — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом: — ты ли это?

— Бабушка ! я не буду просить у него прощения ни за что… — сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

— Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

— Я… я… не… хочу… я не могу, — проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживав-

шую их, и разразились отчаянным потоком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés,[27] сказал St.-Jérôme трагическим голосом: — à genoux![28]

— Боже мой, ежели бы она видела это! — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. — Ежели бы она видела… всё к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала всё сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

— Tranquillisez-vous au nom du ciel, M-me la comtesse,[29]— говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

---

27 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 27

[Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту,]

28 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 28

[на колени!]

29 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 29

[Ради бога, успокойтесь, графиня,]

— Любуйтесь на ваше дело, — сказал St.-Jérôme, уводя меня наверх.

— Боже мой, что я наделал! какой я ужасный преступник!

Только-что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, — я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал всё дальше и дальше по лестнице.

— Ты куда? — спросил меня вдруг знакомый голос. — Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

— Пойдем-ка со мной, любезный! — Как ты смел трогать портфель в моем кабинете, — сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. — А? что ж ты молчишь? А? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват, — сказал я; — я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, — повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо: — будешь впе-

ред совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только-что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцалуями.

— Бей меня еще, — говорил я сквозь слезы: — крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду, — сказал я, цепляясь за его сюртук. — Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, *он* всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. *Он* сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я… с… ним… ради Бога, высеки… за… что… му…чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чем ты, пузырь? — сказал папа с участием,

наклоняясь ко мне.

– *Он* мой тиран… мучитель… умру… никто меня не любит! — едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

ГЛАВА XVII. НЕНАВИСТЬ.

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах, и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и, вместе с тем, какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и

невежественной самоуверенности. Всё это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter[30] (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того

---

30 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 30
[сечь]

невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иваныч был смешной старик-*дядька*, которого я любил от души; но ставил всё-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил «кукольная комедия, шалунья мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас mauvais sujet, vilain garnement[31] и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в

---

31 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 31
[негодяй, мерзавец]

угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «à genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

ГЛАВА XVIII. ДЕВИЧЬЯ.

Я чувствовал себя всё более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, самособой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным* и *необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напо-

маженными волосами.

Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. — Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно

ли вам, или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно всё, что происходит в девичьей. — Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфектная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом, розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову, или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее и что бы ни захотела, я всё бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье сам бы подавал..»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх

грязной розовой рубашки на выпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его…

— Что Вася? опять, — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

— А что ж? разве от *него* добро будет, — отвечал Василий: — хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю, так ни за что и всё через *него*.

— Чай будете пить? — сказала Надежа, другая горничная

— Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эх-ма! — заключил Василий, махнув рукой.

— Надо покорным быть, — сказала Маша, скусывая нитку:– а вы так всё....

— Мочи моей не стало, вот что!

В это время, в комнате бабушки, послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.

— Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет… проклятая *жисть*, каторжная! Хоть бы одно

что, прости, Господи, мое согрешение, — бормотала она, размахивая руками.

— Мое почтение, Агафье Михайловне, — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

— Ну, вас тут! Не до твоего почтения, — отвечала она грозно, глядя на него: — и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить....

— Хотел об вашем здоровьи узнать, — робко сказал Василий.

— Издохну скоро, вот какое мое здоровье, — еще с большим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

— Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить всё и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец, дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

— Видно в другой раз прийти чайку напить-

ся, — сказал Василий шопотом: — до приятного свидания.

— Ничего, — сказала подмигивая Надежа: — я вот пойду самовар посмотрю.

— Да и сделаю ж я один конец, — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты: — либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж… брошу всё, бегу на край света, ей-Богу.

— А я как останусь…

— Одну тебя жалею, а то бы уж даа…вно моя головушка на воле была, ей-Богу, ей-Богу.

— Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, — сказала Маша после минутного молчания: — а то, вишь, какая черная, — прибавила она, взяв его за ворот рубашка,

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

— Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? — сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее: — довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? — продолжала она, обращаясь к Маше. — Мало тебя колотил нынче дядя за него?

Нет, всё свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!

— Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него, — проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.

— Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате.... Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет:

«пропала моя головушка!», и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит, На̀ вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай Бог тебе счастья», а сам уйду

в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

ГЛАВА XIX. ОТРОЧЕСТВО.

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,– так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют

нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева, или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине, так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постеле, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. — После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным, и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его ; но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Воло-

дя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что всё то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь, врасплох, застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности, — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницае-

мого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил....

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего

достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

ГЛАВА XX. ВОЛОДЯ.

Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжеле и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко

постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учители, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессоры видимо стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостны-

ми, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «дай Бог, дай Бог», а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостию. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — Закона Божьего, все стоят у окна и еще с бо̀льшим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, цалует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины *maman* пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми, и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille.[32] Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда

---

32 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 32
[дно бутылки.]

попрежнему усаживается в диванной и о чем-то вечнотаинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви, и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

ГЛАВА XXI. КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА.

Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только-что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки… и к ней попрежнему почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще

гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные и с таким неопределимо-приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних и, когда кто-нибудь при гостях начинает цаловать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит, опустив руки; Катенька держит голову несколько на бок и ходит, сложив руки.

Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и прежде, чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда *arpeggio*[33]....

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

---

33 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 33

[Арпеджо — звуки аккорда, следующие один за другим.]

ГЛАВА XXII. ПАПА

Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети», говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих главах с той недосягаемой высоты, на которую его стави-

ло детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу maman.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый*

век, которое имела тоже привычку говорить maman, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, Бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной jeu perlé,[34] прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй, — сказал он, усаживая ее: — ты знаешь, как я люблю тебя слушать....

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на

---

34 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 34
[бисерной игрой,]

Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцаловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись опять, продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал цаловать в лоб и глаза с такою нежностию, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, Бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза. — Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

— Нет, друг мой, играй почаще, — сказал он дрожащим от волнения голосом: — коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой…

Он еще раз поцаловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

— Вольдемар! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее. «А ты всё хорошеешь», сказал

он, наклонясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову. «Позвольте»,– прошептала она.

— Вольдемар, что ж, скоро ли? — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня…

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне....

ГЛАВА XXIII. БАБУШКА.

Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый запах, который, пять лет тому назад, слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой, и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу

понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во всё время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный Ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «эх-ма», и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только-что мы немного успокоиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка

гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

— Votre grande-mère est morte![35] — говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

Всё время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, т. е. мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут

---

35 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 35
[Ваша бабушка умерла!]

воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной, и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Иваныча. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель, Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила всё имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.

ГЛАВА XXIV. Я.

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело — ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, диференциалы, интегралы и т. д. чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и попрежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная рожа*, и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что с *моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже пре-

кратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые*, с конфектами на подносе, приходят к папа благодарить его, и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, цалуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, — склонности к умствованию.

ГЛАВА XXV. ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ.

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать всё, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький, жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что на-

зывают «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно — это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов,

напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными, Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*....

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза, как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому, — чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто, во время разговора, мне ужасно хотелось про-

тиворечить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня.

ГЛАВА XXVI. РАССУЖДЕНИЯ.

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение — движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

— Что, ты дома будешь нынче вечером?

— Не знаю, а что?

— Так, — сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам

проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.

— Володя дома? — послышался в передней голос Дубкова.

— Дома, — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда, — отвечал Володя, краснея.

— Ну, вот еще! — поедем пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду, — уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел за тем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять

рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат!* — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с прической à la coq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

— Куда это ушел Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю, — отвечал я, краснея при мысли, что они верно догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно у него денег нет! правда? О! *дипломат!* — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. — У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим, — сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. — Вот пятачок, вот двугривенничик, а то ффффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов: — отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?

— Он поедет к кузинам в ложу, — сказал Дубков.

— Нет, я совсем не поеду

— Отчего?

— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.

— Отчего?

— Не люблю, мне неловко.

— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher.[36]

— Что ж делать, si je suis timide![37] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.

— Savez vous, d'où vient votre timidité?.. d'un

---

36 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 36
[дорогой мой.]

37 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 37
[если я застенчив!]

excès d'amour propre, mon cher,[38] — сказал Дубков покровительственным тоном.

— Какой тут excès d'amour propre! — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. — Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне всё кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно.... от этого....

— Одевайся же, Володя! — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одеваться барину!

— От этого со мной часто бывает.... — продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», запел он какой-то мотив.

— Ты не отделался, — сказал Нехлюдов: — я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия

— Докажешь, ежели поедешь с нами.

— Я сказал, что не поеду.

— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

— И докажу, — возразил Нехлюдов с детским своенравием: — только приезжайте скорей.

— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он,

---

38 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 38

[Знаете вы, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой.]

подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что нескоро мог ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит, и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что *я умный*: — я думаю, что всякий человек самолюбив, и всё то, что ни делает человек — всё из самолюбия.

— Так что же, по вашему, самолюбие? — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

— Самолюбие, — сказал я: — есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

— Да как же могут быть все в этом убеждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто кроме меня не признается; я убежден, что я умнее всех на свете и уверен, что вы тоже уверены в этом.

— Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, — сказал Нехлюдов.

— Не может быть, — отвечал я с убеждением.

— Неужели вы в самом деле так думаете? — ска-

зал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

— Серьезно, — отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

— Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?... Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то всё-таки я прав, — прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

— Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! — сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совер-

шенной бессмыслицею — так они были неясны и односторонни — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрогивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

ГЛАВА XXVII. НАЧАЛО ДРУЖБЫ.

С той поры, между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая всё и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что всё то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще. ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное

счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь всё более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь всё выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность итти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он

— Нет, — отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушел? — сказал я.

— Может быть, — отвечал он, усаживаясь подле меня: — но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать, отчего, а вы так можете, — сказал он.

— Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас… не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами, — сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание: — отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком, и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, — подтвердил я:

— но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, — сказал я. — А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову.

— Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, — прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. — *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

— Давайте, — сказал я.

И мы действительно *сделали это*. Что вышло

из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым…

А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?…

КОММЕНТАРИИ.

III. ОДНА ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ «ОТРОЧЕСТВА».

Впервые печатаемый (по рукописи, описанной ниже под № 3) текст соответствует тому, что намечено, как начало «Отрочества», в первом плане «Четырех эпох развития» (стр. 241): «Первый день. Мы опять в Москве с сестрой. ‹у нас новый гувернер. Бабушка очень огорчена.› Мне 15 лет. ‹классы› брату 16. Утро. Он едет держать экзамен, разговор с ним. Мои классы…». Время написания этой главы — декабрь 1852 г. — первая половина мая 1853 г. См. дальше „История писания «Отрочества»“.

IV. ТРИ РЕДАКЦИИ «ОТРОЧЕСТВА».

История писания „Отрочества“.

Первое упоминание о работе над «Отрочеством» находим в дневнике Толстого, в записи под 29 ноября 1852 г. „…Примусь за… «Отро-

чество»“.[154] На другой день такая запись: «… вечером за Отрочество, которое окончательно решился продолжать. 4 эпохи жизни составят *мой* роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен…». Затем до мая 1853 г. записи дневника молчат об «Отрочестве», и можно думать, что в период времени с декабря 1852 г. по апрель — первая половина мая 1853 г. были написаны лишь два начала «Отрочества»: начало I главы (напечатано в этом томе, стр. 246—251), по тексту близкое к началу первого плана, напечатанного выше (стр. 241—242), и отрывок, озаглавленный «Отрочество» и начинающийся словами: «Мы все опять в Москве» (см. дальше „Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества»“, о главе IV).

Снова к «Отрочеству» Толстой обратился, вероятно, не ранее второй половины мая 1853 г. В записи дневника, датированной: «15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая», находим: «… пишу Отрочество с такой же охотой, как писал «Детство». Надеюсь, что будет так же хорошо». В следующей записи: «22,

---

154 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 39

Здесь и везде дальше цитируем по подлинникам дневников, хранящихся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина.

23, 24, 25, 26, 27 мая. Писал мало, зато окончательно обдумал О[трочество], Ю[ность], М[олодость], которые надеюсь кончить». Об этом же на другой день: «Писал и обдумывал свое сочинение, которое начинает ясно и хорошо складываться в моем воображении». 31 мая: «История Карла Ивановича [т.е. главы VIII — X окончательной (III) редакции] затрудняет меня».

На этом работа приостановилась, о чем говорит запись в дневнике под 25 июня: «Почти месяц не писал ничего. В это время ездил с кунаками в Воздвиженскую.... Приехав домой, решился пробыть здесь [в ст. Старогладовской] месяц, чтобы докончить Отрочество, но вел себя целую неделю так безалаберно.... Не могу писать.... бросил писать.... Тщеславился сочинениями перед Громаном, которому читал Историю Карла Ивановича. — Завтра. Встать рано, писать Отрочество до обеда».

После этого, почти месячного, перерыва идет полоса напряженной работы до 21 июля, о чем говорят почти ежедневные записи дневника, из которых приведем запись от 3 июля: «.... Встал поздно, писал хорошо.... Завтра писать, писать и писать Отрочество, которое начинает складываться хорошо». Числа 9 июля Толстой уехал

из Старогладовской в Пятигорск, где жила в это время сестра его Марья Николаевна. Здесь и была закончена первая редакция «Отрочества», что видно из записи дневника от 24 июля: «.... писал довольно много, так что кончил Отрочество, но еще слишком небрежно».

Рукопись первой редакции «Отрочества» сохранилась — она описана ниже (см. „Описание рукописей, относящихся в «Отрочеству»“, № 5). Конец рукописи подтверждает слова записи дневника, что «Отрочество» кончено еще слишком небрежно: последние страницы только намечают конспективно содержание задуманных последних глав. После текста идет перечень глав, позволяющих судить о том, как складывалось в сознании автора содержание повести уже после того, как вчерне она была написана.

Вот этот перечень:

1 часть.

1) Путешествіе.

2) Гроза. —

3) Новый взглядъ и наблюд[енія].

4) Разговоръ съ К[атенькой].

5) В[асилій] и М[аша].

6) Но[вый] образъ жизни.

7) Дробь.

8) Странная перемѣна.
9) Исторія К[арла] И[вановича].
2 часть.
10) Новый порядокъ вещей.
11) St. Jerome.
12) <Володя> Мои наклонности.
13) л[? любовь?] къ М[ашѣ].
14. Классъ.
15. <Страшный поступокъ> Кризисъ.
16. <Раская[ніе] Ужас> Мечты.
17. <Размышленія и мечты>.
18. <Отчаяніе> Наказаніе.
19. <Новый образъ жизни> Отрочество.
20. <Дѣвичья> В[асилій] и М[аша].
21. <Быстрый взглядъ> В[олодя] поступаетъ въ Университетъ.
22. Л[юбочка] и К[атенька].
<23> <Папа> Третья часть.
<24> 23 <Д[убковъ] и Н[ехлюдовъ]> Странная новость.
<25> <24> <Начало Дружбы Чт> Что-то неладно.
Дубковъ и Нехлюдовъ.
<26> <25> <Новое направленіе и др[угіе] разговоры съ Нехлюдовымъ>.
<Главы нѣтъ>
<27> К[атенька?] и М[ими?] доброе дѣло.

<28> 24 <Бабушка> Концертъ.

<29> 25 <Концертъ> Поте[ря бабушки].

<30> <Смерть Бабушки умерш и горесть Гаши>

Начало дружбы.

<31> 26 <Пере> Мы всѣ разъѣзжаемся.

32. Сѣнокосъ въ саду, пріѣздъ Нехлюдова и разговоръ съ нимъ о В[олодѣ] и П[апа].

33. Пріѣздъ папа и разсказъ В[олоди] моимъ[?].

34. Мечты моего друга.

Из этого наброска видно, что первоначально было намечено тридцать четыре главы. Затем были вычеркнуты главы 23, 27, 28, 29 и 30, а главы 24, 25, 26 и 31 сделаны 23, 24, 25 и 26, после чего вычеркнуты 24 (бывшая раньше 25) и 25 (бывшая раньше 26), а из вычеркнутых 28 и 29 сделаны 24 и 25. Поставив черту-концовку под 26 главой, сделавшейся после перестановок последней, Толстой отбросил и главы 32—34, хотя и не зачеркнул их в перечне.

Через день после окончания вчерне «Отрочества» Толстой приступает к работе над отделкой, в результате которой явилась вторая редакция повести. В дневнике под 23 июля записано: «Переписал I главу порядочно». На следующий день: «.... переправил I-ую главу.... Встать рано и писать, не останавливаясь на том, что кажется слабо, только

чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не воротишь». Под 25 июля: «Исключая часов 3, проведенных на бульваре, занимался целый день, но переписал только 1 1/2 главы. Н. В. [т. е. «Новый взгляд», глава III-ья окончательной редакции] натянуто, но *Гроза* [II глава окончательной редакции] превосходна… Завтра утро писать, взять с собой тетради, обедать у Маши[155] и опять писать». На следующий день: «… докончил главу «Грозу». Мог бы написать лучше».

С 27 июля, когда в дневнике записано: «Ничего не делал», писание прерывается. 1 августа Толстой уезжает из Пятигорска в Железноводск, а оттуда в Кисловодск. 26 августа запись: «Ничего не делал. Решился бросать Отрочество… Жалко бросать Отрочество, но что делать? лучше не докончить дело, чем продолжать делать дурно». Тем не менее, делаются попытки преодолеть нежелание писать повесть. На следующий день записано: «Ничего не делал, хочу однако продолжать Отрочество». 11 сентября в дневнике записывает: «Я писал утром и вечером, но мало. Не могу одолеть лень. Придумал в присест

---

155 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 40
Сестра Льва Николаевича, гр. Марья Николаевна Толстая.

писать по главе и не вставать не окончив». На следующий день: «.... Окончил Историю Карла Ивановича.... После обеда полежу и обдумаю главу Отрочества — *непременно*». Но работу над «Отрочеством» перебивает писание «Записок маркера»: в записи, датированной: «20, 21, 22, 23 сентября», читаем: «Только два последние дня писал понемногу Отрочество. Коли приняться, то можно кончить его в неделю». С 29 сентября снова прилив творчества. Под этим днем записано: «Утром написал главу «Отрочества» хорошо.... В «Смерть бабушки» [XXIII глава окончательной редакции] придумал характерную черту религиозности и вместе непрощения обид». В записи, датированной: «30 сент. — 1 окт.»: «Вчера и нынче писал по главе, но не тщательно». На следующий день: «Писал главу «Отрочества»... Все «Отрочество» представляется мне в новом свете, и я хочу заново переделать его». 7 октября: «.... начал было писать «Дев[ичью]» [XVIII глава окончательной редакции], но так неаккуратно, что бросил — нужно пересматривать сначала». 8 октября: «.... Выехал в до[рогу?] в 6 прие[хал] в Георг[иевск] и здесь написал 3/4 листа «Дев[ичьей]». 11 октября Толстой возвращается с Минеральных вод в Старогладовскую и через день записывает в днев-

нике: „С нынешнего дня примусь. Утро писать «Отрочество».... Написал 1/4 л. «Дев[ичьей]»“. 15 октября: „докончил «Девичью»“. 16 октября: «писал У.В. [вероятно нужно понимать «Университет Володи», т.е. XX глава «Володя» окончательной редакции], которую и кончил». Но работа идет вяло: 22 октября отмечает: „«Отрочество» опротивело мне до последней степени. Завтра надеюсь кончить“. На следующий день: «Я берусь за свою тетрадь «Отрочества» с каким-то безнадежным отвращением, как работник, принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво.

Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть всё сначала и сделать отметки и начерно окончательные перемены. Переменять придется много. Характер «я» вял, действие растянуто и слишком последовательно во времени, а не последовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа прошедшие события с моим разделением глав совсем упущен.

.... снова сел за отвратительное «Отрочество»... Опять поработал над Отрочеством, кое-как дописал одну главу». И дальше, опять под 23 октября

записано: «Отвращение к «Отрочеству». Недостатки его. Упущение ясного литературного приема».

Под 24 октября о том же: «Встал раньше вчерашнего и сел писать последнюю главу. Мыслей набралось много; но какое-то непреодолимое отвращение помешало мне окончить ее. Как во всей жизни, так и в сочинении прошедшее обусловливает будущее — запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением и следовательно хорошо. Обдумывал перемены в «Отрочестве», но не сделал никаких. Надо на легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова».

Таким образом работа над второй редакцией «Отрочества» растянулась на целых три месяца — с 23 июля до 24 октября 1853 года.

Рукописи второй редакции полностью не сохранилось. Она описана ниже. (См. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»“, № 6).

С 25 октября началась работа над III редакцией. Под этим числом в дневнике записано: «С утра пересмотрел Отрочество и решился переписывать его снова и насчет изменений, перемещений и прибавлений, которые нужно в нем сделать». На следующий день: «.... С утра работал порядочно над перепиской и приведением в порядок Отрочества.... а после обеда.... сделал очень мало, когда

и мог бы — до ужина, чтобы сделать удовольствие Гр[оману], вызвавшемуся переписывать мне, диктовал и читал ему». 27 октября: «.... целый день ничего не делал, потому что застрял на Н. В. [т.е. «Новый взгляд», глава III окончательной редакции], для которого, ничего нейдет в голову».

Судя по дневнику, работа прервалась до 5 ноября, когда записано: «Начал пересматривать Отрочество, но кроме вымарок ничего не сделал.... Вчера Акршевский, которого я пригласил к себе с тем, чтобы дать переписать ему свое Отрочество, принес мне свою....». На следующий день: «... поправлял Отрочество, которое переписывает Акршевский». В эти дни Толстой принимал участие в набеге. В записи, датированной: «7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября», читаем: «Оставил Акршевскому почти половину Отрочества для переписки.... и уехал из Хасав-Юрта....»; «17, 18 ноября»: «.... писал мало. Две главы «Девичья» и «Отрочество» [XVIII и XIX главы окончательной редакции], которые я так долго не могу окончательно обработать, задерживали меня». 20 ноября, будучи в Кизляре, Толстой послал с Хастатовым Акршевскому, надо полагать, в Хасав-Юрт, две главы Отрочества для переписки (запись в дневнике, датированная: «19, 20, 21, 22 нояб-

ря»). 2 декабря в дневнике записано: «.... хотел приняться за «Отрочество», но без предыдущих тетрадей нашел неудобным, на новое же ни на что еще не решился». В записи, датированной: «4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря», отмечено: «Акршевский всё не присылает тетрадей» В записи 19, 20 декабря: „Чтоб сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им, нужно, чтобы всё оно было проникнуто и одним чувством, чего у меня не было в «Отрочестве»“. На следующий день: «… Получил письмо от… Акршевского, он не переписал и не прислал мне «Отрочество» Это меня бесит. «Отрочество» из рук вон слабо — мало единства и язык дурен».

После этой записи перерыв до 13 января 1854 г., когда записано: «.... Только немного переписал «Песни Лебедя» [«История Карла Ивановича», главы VIII — X окончательной редакции] и пересмотрел старое». 15 января: «.... Утром окончил П. Л.» [т.е. «Песнь Лебедя»]. На следующий день: «.... После обеда написал порядочно главу «Дружба» [«Начало дружбы», глава XXVII окончательной редакции], переправил Янушкев[ича] писанье, так что нынче Отрочество должно быть кончено.... Сочинение кажется обыкновенно в совершенно другом и лучшем свете, когда оно окончено».

Переделка глав «Отрочества» производилась 17 и 18 января. 19 января, в день отъезда из Старогладовской в Ясную Поляну, записано: «*Докончить Отрочество и уехать.* Исполнил. Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал.... Перечел «Отрочество» и решил не смотреть его до приезда домой.... В «Отрочестве» я решил сделать следующие поправки: 1) Укоротить главу *Поездка на долгих* [I глава окончательной редакции], 2) *Грозу* [II глава окончательной редакции], упростить выражения и исключить повторения, 3) Машу сделать приличней, 4) соединить Единицу с Дробью [т.е. главу VII окончательной редакции «Дробь» с главой XI окончательной редакции «Единица»], 5) *Ключик* [глава XII окончательной редакции] прибавить то, что найдено в портфеле, 6) Мечты о матери изменить, 7) Приискать заглавие «Перемелется — мука будет» [глава XVI окончательной редакции], 8) Дубков и Нех[людов], переменить начало и добавить описание нас самих и нашего положения во время беседы».

Первая из намеченных поправок — „укоротить главу «Поездка на долгих»“ — была сделана: во II редакции глава начиналась абзацом, отсутствующим в III редакции (см. «Сравнительный обзор состава глав» гл. I и вар. № 2). Вторая поправка

— «упростить выражения и исключить повторения» во II главе — тоже была сделана, поскольку об этом можно судить по дошедшим до нас частям этой главы во II редакции. Третья поправка — «Машу сделать приличней» — выразилась, вероятно, в исключении места в VI главе (III редакции), помещенного нами в вариантах (см. вар. № 8). Четвертая и пятая поправки не были сделаны. Шестая поправка — «мечты о матери изменить» — вероятно имеет в виду главу XV (III редакции), но ее не сохранилось во II редакции, и потому нельзя сказать, что хотел в ней изменить Толстой.[156] Седьмая поправка — переменить заглавие XVI главы — была сделана: в тексте, напечатанном в «Современнике» (1854 г. кн. X), глава эта названа «Болезнь», но в изд. 1856 г. снова названа «Перемелется — мука будет» Восьмая поправка непонятна, так как рукописей этих глав не сохранилось.

На этом кончаются записи в дневнике о работе над «Отрочеством», если не считать еще одной, сделанной уже в Бухаресте 14 марта 1854 г.: „Вечер просижу дома и займусь «Отрочеством»“.

---

156 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 41

Возможно, что имеется в виду и XIX глава III ред., в которой в I редакции тоже было место о матери (см. вар. № 22), но и от этой главы во II редакции сохранились лишь отрывки.

Каков был текст окончательной (III) редакции, посланный Толстым Некрасову, мы, в сущности, не знаем, так как рукописи этого текста не сохранилось; текст же, напечатанный в «Современнике», был очень искажен цензурой, и искажения эти не полностью были исправлены в издании 1856 года и последующих.

Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству».

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке СССР им. Ленина, имеются следующие рукописи, относящиеся к «Отрочеству».

1. Рукопись первого плана романа «Четыре эпохи развития», описанная в I томе. Печатается полностью впервые (стр. 241—242).

2. Рукопись второго плана романа «Четыре эпохи развития», описанная в I томе. Печатается впервые (стр. 243—245).

3. *(Папка V, I, 6, Б, 2).* Рукопись, озаглавленная: «1-я глава. Учитель Французъ» — автограф Толстого, представляющий собою два полулиста белой писчей бумаги (без водяных знаков), сложенных пополам, и одну четвертушку. Полулисты перенумерованы — 1, 2, четвертушка — без пагинации. Написано порыжевшими, «кавказскими» чернилами. Оставлены поля, частью записан-

ные. Первая часть текста (до слов : «Только что я услышалъ») написана более мелким почерком, чем вторая. Печатается впервые (стр. 246—251 и в объяснительной статье „История писания «Отрочества»“).

4. *(П. V, I, 6, Б, 1).* Рукопись, озаглавленная: «Отрочество» и начинающаяся словами: «Мы всѣ опять…» — автограф Толстого на двух листах (размером в лист) белой писчей бумаги (без водяных знаков), вырванных из переплетенной тетради. Написано порыжевшими, «кавказскими» чернилами. Печатается впервые (не полностью) в настоящем томе (см. вар. № 4 и в объяснительной статье „Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества»“, о главе IV).

5. *(П. V, I, 6, Б, 3).* Рукопись «Отрочества», везде далее называемая «I редакцией» — автограф Толстого, представляющий собою пять тетрадок, сшитых белыми нитками из сложенных пополам полулистов белой писчей бумаги (без водяных знаков). Ни тетради, ни страницы не перенумерованы. В первой тетради 24 страницы, во второй — 24, в третьей — 48, в четвертой — 56 и в пятой — 42, из которых последние 19 — чистые. Во всей рукописи, следовательно, всего 194 страницы в 4°. Судя по тексту, первые четыре тетради сохрани-

лись полностью, из пятой же вырвано сколько-то страниц, так что два последние исписанные листка оказались оторванными. Первые две тетрадки и первая половина третьей написаны порыжевшими, местами очень жидкими, чернилами («кавказскими»), начиная же со слов: «Не ручаюсь за достовѣрность…» (в «Истории Карла Ивановича») и до конца написано более черными чернилами; этими же чернилами сделаны и разметки глав в первой части рукописи.[157] На верху первой страницы первой тетрадки имеется заглавие: «Отрочество». Текст испещрен поправками, зачеркиваниями (горизонтальными линиями по словам и крест-накрест по ряду строк), вставками, написанными между строк, и пометами, написанными поперек строк текста. Деление на главы не проведено последовательно, и во второй половине рукописи текст разделяется короткими чертами-концовками. После текста повести, сейчас же под словом «конецъ», идет перечень глав.[158]

---

157 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 42

Об этих разметках см. в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Отрочества».“

158 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 43

Он полностью напечатан в „Истории писания «Отрочества»“ (см. стр. 352).

По копии (не без ошибок) с этой рукописи П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Толстого», изд. Сытина 1912 (в 20 томах), том I (стр. 393—405) впервые напечатано пять вариантов.[159] Нами печатается по этой рукописи двадцать вариантов (№№ 1, 3, 5, 6, 9—14, 16, 18—22, 25—28).

6. *(П. V, I, 6, Б, 4).* Рукопись «Отрочества», везде далее называемая «II редакцией» Это — автограф Толстого — 72 листка в 4°, из которых 36 листков — сложенные пополам полулисты белой писчей бумаги (без водяных знаков) и 36 четвертушек такой же бумаги. Листки не сшиты, и рукопись представляет собою пачку листков. Страницы рукописи перенумерованы рукой Толстого и сохранились не все, а именно: с 1-й по 34-ю + 4 ненумер., затем с 35-й по 46-ю + 4 нен., после чего пропуск (в 24 страницы), затем с 71-й по 102-ю, после чего опять пропуск (в 12 страниц), затем с 115-й по 138-ю, после чего третий пропуск (в 40 страниц), затем с 179-й по 182-ю, после чего четвертый пропуск (в 5 страниц), затем с 186-й по 191-ю + 4 нен. страницы. Кроме этого, имеется: две четвертушки с нумерованными страницами — 15, 16, 17 (четвертая страница чистая и

159 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 44

Они все указаны в сносках в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Отрочества»“.

без номера) с текстом, соответствующим тексту основных с этими же номерами страниц; одна четвертушка с нумерованными страницами — 133 и 134 с текстом, соответствующим тексту основных с этими же номерами страниц; четыре четвертушки без нумерации с текстом, повторяющим с незначительными отличиями текст основных (нумерованных) страниц. Страницы 51—54 «Песнь Лебедя. Глава» написаны рукой не Толстого; им сделаны лишь поправки. Наконец, имеется еще один полулист, сложенный пополам (четыре страницы), с четвертушкой с текстом, написанным рукой не Толстого, а переписчика (см. в «Сравнительном обзоре состава глав» о гл. II). Чернила — жидкие черные. Текст по сравнению с рукописью I ред. менее испещрен поправками и вставками. Текст этой рукописи ни целиком, ни частями в печати не появлялся. Нами из него печатается семь вариантов (№№ 2, 7, 8, 15, 17, 23 и 24).

7. *(П. V, I, 6, Б, 5).* Рукопись — автограф Толстого на 6 листках в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков); некоторые из них вырваны из какой-то тетради. Страницы нумерованы (рукой Толстого) 120—129 и 126, 127. Чернила — жидкие черные. Незначительное количество поправок

указывает на то, что это — не первая редакция. На верху первой страницы другим почерком (тоже Толстого) написано: «Странная новость». Текст дает без начала одну из глав и начало следующей главы, не вошедших ни в одну из сохранившихся редакций «Отрочества», и печатается нами впервые. См. вар. № 27.

Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества».

Не считая возможным в настоящем издании опубликовать полностью текст I и II редакций «Отрочества», мы печатаем из них лишь отрывки. Для указания местонахождения их в рукописях дается настоящий обзор, позволяющий вместе с тем следить за тем, как шла работа автора. За основание сравнения взята окончательная (III) редакция, с текстом которой и сравниваются тексты первых двух редакций.

Глава I. «Поездка на долгих». В I ред. глава носит название «Путешествіе» и начинается абзацем: «Со смертью матери», по тексту очень близким к соответствующему абзацу II редакции (вар. № 2). Затем идет абзац, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 1)*, после чего идет текст, близкий к тексту III редакции до (исключительно) последнего абзаца: «Но вот и

деревня». Текст I ред. кратче текста III ред. Из мелких отличий отметим, что лакей назван здесь не Василием, а Михеем.

Затем в I редакции, вместо последнего абзаца III редакции, идет такой текст:

Иногда чепецъ съ черными лентами Мими высовывается изъ окна кареты, и она грозитъ намъ головой. Но вообще все время путешествія Мими необыкновенно добра. Мнѣ почему то непріятна ея снисходительность: она напоминаетъ мнѣ, что мы сироты. —

Во II редакции этой главе соответствует: «Поѣздка на долгихъ. Глава I», начинающаяся с зачеркнутого абзаца, отсутствующего в III редакции и помещаемого нами в вариантах *(см. вариант №2)*. Затем идет текст, весьма близкий к тексту III редакции.

Кроме этого, на двух отдельных листках в 4°, перенумерованных: 15, 16 и 17 стр., имеется текст части главы, начиная со слов «На крутом спуске (второй от конца абзац III редакции) до конца главы. Текст этот весьма близок к тексту III редакции.

Глава II. «Гроза». В I редакции после первой главы начата была глава: «Наблюденія» (сделанная потом третьей), но несколько написанных

строк зачеркнуты, и вслед за ними идет глава: «Гроза. II». Текст ее близок к тексту III редакции, но кратче и не отделан.

Во II редакции эта глава, названная: «Гроза 2»[160] первоначально была третьей. Текст ее сохранился не полностью и обрывается на слове «под сѣдомъ» (в абзаце III редакции: «Но вот дождь становится…»). Сохранившаяся часть близка к тексту III редакции.

Кроме этого, на шести отдельных листках в 4° имеется три куска этой главы: 1) начиная со слов: «минуты на минуту ожидаю» (в абзаце III редакции: «Колеса вертятся скорее и скорее…»), кончая: «третья, четвертая» (в абзаце III редакции: «Василий, в дороге подающий»). Текст этого места весьма близок к тексту III редакции, отличаясь от последнего лишь тем, что в нем есть отдельные слова, исключенные в III редакции; 2) начиная со слов: «покачивается передъ нами» (в абзаце III редакции: «Но вот дождь…») до конца главы. Текст этого места близок к тексту III редакции и 3) начиная со слов: «усиливало мое нетерпѣніе (в первом абзаце III редакции), кончая словами: «сквозь сѣровато» (в абзаце III редакции: «Но вот

---

160 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 45
Цифра «2» переделана из «3».

дождь…»). Это место написано старательным почерком не рукой Толстого и вероятно или Акршевским или Янушкевичем (см. „История писания «Отрочества»“). Текст этого места весьма близок к тексту III редакции, но не тождествен с последним.

Глава III. «Новый взгляд». В I редакции, мы уже сказали, первоначально была второй и называлась «Наблюденія», но начало ее зачеркнуто. После же второй главы «Гроза» идет глава, первоначально названная «Разговоры». Под этим позднее (другими чернилами) написано:

«Новый взглядъ. III» и еще: «К[атенька] хочетъ итти въ монастырь». Все три варианта названия не зачеркнуты. Текст ее значительно отличается от текста III редакции. Помещаем его полностью в вариантах *(см. вариант №3)*.

Во II редакции эта глава идет после первой и носит два варианта названия: *«Новый взглядъ. Глава 2»* и «Богатство и бѣдность». Текст ее весьма близок к тексту III редакции, кроме двух мест, исключенных в III редакции: 1) в абзаце: «Случалось ли вам, читатель....» после слов «неизвестною еще страной» идет зачеркнутое:

<Со мной это случалось нѣсколько разъ, и я убѣжденъ, что ежели Богу угодно будетъ, чтобы

я прожилъ до послѣдняго предѣла человѣческой жизни, то еще нѣсколько разъ долженъ буду испытать эту моральную перемѣну.—>

2) в абзаце: «Мне в первый раз пришла…» после последних слов: «чувствовал этого» идет зачеркнутое:

<Кто не испытывалъ почти того-же въ изученіи исторіи? Ребенокъ не сомнѣвается въ достовѣрности ея; но не можетъ вѣрить въ нее до тѣхъ поръ, пока наблюденія надъ дѣйствительностью и опытность чувства не покажутъ ему возможности прошедшаго. Я только тогда сталъ сомнѣваться въ истинѣ Исторіи, когда сталъ вѣрить въ нее.—>

Остальные отличия текста II редакции от текста III редакции чисто стилистического характера.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° имеется очень близкое к тексту III редакции начало этой главы (кончая словом: «встречал» в первом абзаце), носящей здесь название: «Богатство и Бѣдность. Глава 3».

Глава IV. «В Москве». Ранний (вероятно, до I редакции «Отрочества») вариант этой главы имеется на двух листах (см. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»“, № 4). Это — вероятно, один из первых набросков начала

«Отрочества»; он имеет заглавие *Отрочество* и по тексту значительно отличается от текста IV главы III редакции. Начинается:

Мы всѣ опять въ Москвѣ, въ томъ же памятномъ мнѣ бабушкиномъ домѣ. Семейство наше составляютъ тѣже лица; даже Мими, Любочька и хорошенькая Катенька живутъ съ нами навѣрху, въ недавно для нихъ отдѣланномъ веселенькомъ, чистенькомъ мезонинѣ. Но какія огромныя перемѣны произошли за два года, которыя я пропускаю, во всѣхъ мнѣ знакомыхъ предметахъ и лицахъ!

Бабушка уже не внушаетъ мнѣ столько страха и уваженія, какъ прежде; а чувства эти замѣнились въ отношеніи ея сожалѣніемъ и любовью, къ которымъ такъ способна моя дѣтская душа.

Затем идет характеристика бабушки, довольно близкая к той, которая дана в I редакции (вар. № 5), но кратче последней. Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 4)*.

В I редакции этой главе соответствует глава: «Дробь. IV».[161] Текст ее значительно отличается от текста IV главы III редакции. Помещаем начало его в вариантах *(см. вариант №5)*. В напе-

---

161 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 46
Цыфра приписана позднее, другими чернилами.

чатанном в вариантах всё написанное с начала главы до слов: «Бабушка много, очень много…» перечеркнуто крест-на-крест, в нескольких местах, и поперек текста позднейшая помета: «Отъ себя описаніе отношеній нашихъ къ папа и бабушкѢ».

Во II редакции этой главе соответствует глава, стоящая после главы «Гроза» и названная: *«Новый взглядъ. Глава 4»*. Эта глава имеется здесь в двух вариантах. В первом дана лишь характеристика бабушки (т. е. то, что в III редакции второй абзац IV главы), по тексту занимающая среднее положение между текстом I редакции (вар. №5), будучи кратче последнего, и текстом второго варианта, будучи несколько пространнее его. Во втором варианте текст уже весьма близок к тексту III редакции. По этому тексту идет помета: «Они не перемѣнились вдругъ; но постепенная ихъ перемѣна вдругъ поразила меня».

Глава V. «Старший брат». В I редакции место, соответствующее этой главе, находится после места, соответствующего XVII главе III редакции. Здесь (в I редакции) текст близок к тексту V главы III редакции с начала ее и кончая словами: «по целым дням и ночам» (в абзаце: «То вдруг на него…»). Затем идет текст, помещаемый нами в

вариантах *(см. вариант №6)*. Поперек помещенного в вариантах текста позднейшая помета: «Мои страсти то къ силѣ [?] то къ цвѣтамъ». Затем идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Однажды во время…» до конца главы. В I редакции текст этого места (в конце его стоит черта-концовка) близок к тексту III редакции, будучи несколько пространнее последнего. Обозначаем это место I редакции *А*.

Во II редакции этой главе соответствует глава, названная: *«Старшій братъ. 5»*[162] и стоящая после главы 8-й (вар. №15). Текст ее весьма близок к тексту III редакции.

Глава VI. «Маша». Этой главе в I ред. соответствует текст, идущий после текста *А* и близкий к двум последним абзацам VI главы III редакции, после чего идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная со слов: «Иногда, притаившись…» (в абзаце: «Я по целым часам проводил…») до конца этого абзаца. Текст I редакции близок к тексту III редакции. Затем в I редакции идет:

Когда были гости, и мы играли съ дѣвочками или танцовали? Опять то же самое скрытое чув-

---

162 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 47
Цыфра «5» переправлена из «9».

ство зависти и страданія. — Я напрягалъ, сколько могъ, свои умственныя способности, чтобы найдти дурное въ этихъ удовольствіяхъ и находить наслажденіе въ гордомъ одиночествѣ.—

Обозначаем эти строки *Б*.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 10-я. ‹Дѣвичья› Маша», стоящая после главы 5-й (первоначально бывшей 9-й) «Старшій братъ». Здесь (во II редакции) глава начинается зачеркнутым местом, помещаемым нами в вариантах *(см. вариант № 7)*. Затем идет текст, близкий к тексту VI главы III редакции, начиная со второго абзаца до конца главы, с тем лишь отличием, что во II редакции после абзаца: «Не могу выразить....» идет зачеркнутый абзац, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 8)*.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° (вне нумерации) имеется текст начала этой главы, названной здесь: «Глава 6. Маша». Он начинается местом, близким к тексту вар. № 7 со слов: «Отчего мне не признаться...», после чего идет еще абзац, очень близкий к тексту первого абзаца VI главы III редакции.

Глава VII. «Дробь». В I редакции этой главе соответствует вторая половина 4-й главы «Дробь» (см. выше о главе IV). Помещаем начало второй

половины главы в вариантах *(см. вариант № 9)*. Среди строк текста, напечатанного нами в качестве варианта, имеется помета: «спокойный, рассудительный характеръ Л. [?]». Затем идет текст весьма близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Когда папа пришел» до конца главы.

Во II редакции этой главе соответствует: «Дробь. Глава 7».[163] Здесь текст весьма близок к III редакции, и места, соответствующего вар. № 9, нет.

Глава VIII. «История Карла Ивановича». В I редакции перед главой, соответствующей этой (VIII главе III редакции), имеется еще глава: «Странная перемѣна. V».[164] Помещаем начало ее в вариантах *(см. вариант № 10)*.

Затем идет сцена появления пьяного Карла Ивановича, написанная первоначально для главы XXIV «Детства», но оттуда исключенная. Текст ее здесь в общем довольно близок к тексту вар. № 27 «Детства».[165] Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 11)*, после чего

---

163 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 48
Цифра «7» переправлена из «5».

164 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 49
Цыфра «V« написана позднее, другими чернилами.

165 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 50
См. 1 том, стр. 203.

идет текст, довольно близкий к тексту начала VIII гл. III редакции, кончая абзацем: «Карл Иванович облокотился…». Затем идет глава: «Исторія Карла Ивановича. VI» (заглавие и цыфра написаны позднее, другими чернилами). Начало ее близко к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Я был несчастлив» до слов: «Тогда маменька сказала» (в абзаце: «В жилах моих»). Из мелких отличий I редакции отметим, что здесь есть такое место: «Часто мой добрый маменька говорилъ мнѣ ‹Farldjen› Фрицъ (я на родинѣ имѣлъ имя Феодора)», а местом его родины названо «мѣстечко Ruhleben въ Саксоніи». Затем в I редакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 12)*, после чего идет текст, весьма близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Я взял его за руку» до конца главы.

Во II редакции главы I редакции «Странная перемена» нет, и VIII главе III редакции соответствует глава: «<Исторія Карла Ивановича> Пѣснь Лебедя. Глава 6». От нее сохранилось лишь начало, соответствующее началу VIII главы III редакции, кончая абзацем: «Вы не дитя…». Текст II редакции близок к тексту III редакции, будучи несколько пространнее последнего.

Глава IX. «Продолжение предыдущей». В I

редакции этой главе соответствует место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 13)*, после чего идет текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «На четвертые сутки…» до конца главы.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава X. «Продолжение». В I редакции после эпизода с баронессой идет эпизод с шпионом, т.е. место, соответствующее тексту III редакции, начиная со слов: «В одно воскресенье…» (в абзаце: «Но Богу не угодно....») и кончая словами (в этом же абзаце): «zum Fenster hinaus». Затем в I редакции идет эпизод появления в родном доме, т.е. то, что в III редакции имеется в первых трех абзацах этой главы. Текст I редакции близок к тексту III редакции. Затем в I редакции идет такой (незачеркнутый) текст:

Какъ я уже сказалъ, я не знаю, былъ-ли справедливъ разсказъ Карла Ивановича, но положительно, то, что въ то время, какъ онъ передавалъ его, въ его словахъ была такая ясная послѣдовательность въ жестахъ, такъ много истины и чувства, что трудно было сомнѣваться въ словахъ несмотря на то, что разсказъ этотъ по своему слишкомъ классическому расположенію вну-

шалъ недовѣріе.

Между строками этого текста написано:

Не ручаюсь за достовѣрность обстоятельствъ рассказа, но ручаюсь за достовѣрность самого рассказа. Описаніе войнъ, безпрестанныхъ бѣгствъ, самопожертвованій, свиданія съ родителями, имѣющее[166] сходство съ свиданіемъ[167] Іосифа Прекраснаго, въ движеніяхъ лица и слезахъ, которыя проливалъ онъ [съ] своими братьями, всѣляютъ недовѣріе во мнѣ теперь, но тогда такія похожденія такъ хорошо гармонировали съ моими идеально-благородными, неопытными дѣтскими понятіями, что *эти-то* самыя несообразности внушали мнѣ болѣе всего довѣрія.

Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 14)*.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

После «Истории Карла Ивановича» в I редакции следовала глава, не вошедшая в III редакцию и названная: «Новый ‹Гувернеръ› порядокъ вещей. VII». Текст ее с начала, будучи несколько пространнее, близок к тексту VII главы II редак-

---

166 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 51
В подлиннике: имѣющему

167 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 52
В подлиннике: свиданія

ции, до абзаца (исключительно): «На крыльце Карл Иванович…» (вар. № 15). Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 16),* после чего идет текст, в общем довольно близкий к тексту II редакции, начиная с абзаца: «Растроганный сценой» и кончая словами: «часто подвергался этому наказанию» в абзаце VIII гл.: «Никто не ездил....» (вар. № 15)[168]

Во II редакции глава I редакции «Новый порядок вещей. VII» разбита на две, помещаемые нами (полностью) в вариантах *(см. вариант № 15)*.

Глава XI. «Единица». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после строк *Б* (см. выше о гл. VI). Оно начинается таким текстом:

Но вотъ обстоятельство, окончательно удалившее меня отъ забавъ и удовольствій моего возраста и внушившее мнѣ страсть къ уединенію, мечтамъ и размышленію.

Затем в I редакции идет текст, неразработанный и неотделанный, но близкий к тексту XI главы III редакции. Он заключается чертой, концовкой.

---

168 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 53

Текст главы «Новый порядок вещей» I редакции (с начала ее и кончая местом, соответствующим месту II редакции, кончающемуся словами: «часто подвергался этому наказанию») впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого», изд. Сытина, 1913, т. I, стр. 393—397.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 9[169] <Классъ Исторіи> Единица». Текст ее весьма близок к тексту III редакции.

Глава XII. «Ключик». В I редакции этой главе соответствует текст, который идет после текста, соответствующего тексту XI главы III редакции. Здесь (в I редакции) начало (до многоточия) близко к тексту III редакции. Затем идет место, близкое по тексту к тому, что имеется во II редакции (вар. № 17). Из отличий текста I редакции отметим, что имена корреспонденток здесь: Sophie, Esther и Настя, и на колоде надпись: «понтерки, на которыя въ 1814 году я въ ночь 17 Генваря отъигралъ все проигранное свое состояніе».[170] Затем в I редакции идет текст, близкий к тексту III редакции, но значительно более краткий, заключающийся чертой-концовкой.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 10[171] <Становлюсь все болѣе и болѣе виноватымъ> Ключикъ». Текст начала этой главы весьма бли-

---

169 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 54

Цифра «9» переделана из «10».

170 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 55

Текст этого места (I ред.) впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 400.

171 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 56

Цифра «10» переделана из «11».

зок к тексту III редакции (до многоточия), вместо которого во II редакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант №17)*, после чего идет текст, весьма близкий к тексту III редакции.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° (страницы листка перенумерованы: 133, 134) имеется текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Детское чувство…», до конца главы.

Глава XIII. «Изменница». В I редакции этой главе соответствует место, идущее за текстом, соответствующим тексту XII главы III редакции. В I редакции текст близок к тексту III редакции, но не разработан.

Во II редакции от этой главы, названной: *«Глава 14. Измѣнница»*, сохранилось лишь начало, соответствующее первым трем абзацам XIII главы III редакции. Текст II редакции весьма близок к тексту III редакции.

Глава XIV. «Затмение». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XIII главе III редакции. Начинается оно иначе, чем в III редакции. Помещаем его в

вариантах *(см. вариант № 18)*.[172] Затем[173] идет место, соответствующее тексту III редакции, начиная со слов: «Я должен был быть....» (в абзаце: «Он сказал это...») до конца главы. Текст этого места I редакции близок к тексту III редакции и так же, как и последний, кончается многоточием, после которого — черта-концовка.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XV. «Мечты». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XIV главе III редакции. Текст I редакции довольно близок к тексту III редакции, но не разработан и не отделан.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XVI. «Перемелется — мука будет». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XV гл. III редакции. Текст I редакции довольно близок к тексту

---

172 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 57

Из этого места, со слов «St.-Jérôme вышел...» кончая словами: «выговаривая это последнее слово» впервые напечатано по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 400—401.

173 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 58

Это место впервые напечатано по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч Толстого, т. I, стр. 403—405. [ВНИМАНИЕ! В тексте оригинала отсутствует знак сноски, отмечающий место, к которому относится данное примечание. — *Редактор электронного издания*]

III редакции с начала главы, кончая абзацем: «Хотел ли я убежать…», после чего в I редакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант №19)*. Затем в I редакции идет текст (кончается чертой-концовкой), близкий к тексту последнего абзаца XVI главы III редакции.

Глава XVII. «Ненависть». В I редакции этой главе соответствует глава, названная «<Ненависть> Униженіе», стоящая после места, кончающегося во II редакции словами: «часто подвергался этому наказанию» (см. вар. № 15, абзац 8-й главы: «Никто не ездил…»). Она начинается абзацем:

Исключая Илиньки Грапъ, который приходилъ учиться съ нами, мы не видали никого сверстниковъ. Съ Ивиными мы встрѣчались изрѣдко на Т[верскомъ] бульварѣ и въ манежѣ, къ намъ же никто не ѣздилъ почти цѣлый годъ траура подъ предлогомъ траура и безпокойства, которое могло причинить бабушкѣ, и еще болѣе потому, чтобы мы не развлекались отъ классовъ, особенно Володя, поступавшій будущей весной въ Университетъ.[174]

После этого идет текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «St.-Jérôme жил у нас…»

---

174 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 59

Этот абзац впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч. Толстого,т. I, стр. 397398.

и кончая абзацем: «Карл Иванович ставил нас…». Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. —вариант № 20)*.[175] В напечатанном в вариантах тексте перед словами: «Я понимал, что чувство, возбуждаемое во мне…» имеется помета: («Отношенія мои съ St.-Jérôm'омъ изъ 3-й тетради последнего листа)». Текст последнего листа 3-й тетради, это — место со слов: «в классной, как будто занимаясь», кончая: «Как он, француз, смел ударить нашего русского человека». Очевидно Толстой хотел, выбросив эпизод с Василием, оставить лишь описание чувства, которое ему внушал St.-Jérôme.

После напечатанного в вар. № 20 идет близкое к тексту III редакции место, соответствующее первому абзацу XVII главы III редакции.

Во II редакции от этой главы сохранилось лишь несколько строк, соответствующих концу вар. № 20.

Глава XVIII. «Девичья». В I редакции этой главе соответствует глава: «<Маша> Дѣвичья», стоящая после текста, помещенного нами в качестве вар. № 22. Помещаем ее в вариантах *(см. вариант*

---

175 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 60

Часть этого варианта (с начала и кончая словами: «ударить нашего русского человека!») впервые напечатана по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 398—399.

№21). Поперек текста, кончающегося словами: «заплакала и вышла на лестницу», написано: «конецъ».

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 19. <Дѣвичья> (Василій и Маша) Дѣвичья», стоящая после места, соответствующего тексту XIX главы III редакции. Здесь (во II редакции) сначала идет зачеркнутый крест-накрест текст, повторенный сейчас же за ним в таком виде:

Глава 29. Дѣвичья.

If nature has so wowe her web of kindness that some threads of lowe and desire are entangled with the piece; must the all piece be rent in drawing them aut. —

Sterne.[176]

<Какъ только я, задумавшись о чем-нибудь, забывался на минуту, я безсознательно вставалъ съ мѣста, выходилъ на лѣстницу, осторожно ступалъ по скрипящимъ ступенямъ и вдругъ, совершенно неожиданно для самого себя, находилъ себя сидящимъ за дверью дѣвичьей, безъ всякой мысли устремивъ взоры на давно изученные

---

176 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 61

[Если природа соткала ткань нежных ощущений так, что нити любви и желаний тесно переплетены в ней, то не пострадает ли сама ткань, если вырывать из нее эти нити. Стерн.] Сохранена орфография Толстого в английском тексте. Цитата взята из гл. «Победа» «Сентиментального путешествия».

мною до малѣйшихъ подробностей предметы>.

Затем идет описание девичьей, довольно близкое к описанию, имеющемуся в I редакции, начиная со слов: «В дверь, в которую я смотрел…» и кончая: «пристально шьет (см. вар. № 21, в абзаце «Однажды в праздник…»), после чего в рукописи пропуск, а затем небольшой отрывок, соответствующий в общем абзацу: «Несмотря на то, что…» III редакции. На этом отрывке кончается рукопись III редакции.

Глава XIX. «Отрочество». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего последнему абзацу XVI главы III редакции. Текст этого места I редакции отличен от текста III редакции, и мы помещаем его полностью в вариантах *(см. вариант № 22)*.[177]

Во II редакции эта глава сохранилась не полностью: здесь имеется текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Мысли эти представлялись…» и кончая абзацем: «Другой раз, вспомнив…». Текст II редакции отличен от текста III редакции, и мы помещаем его в вариантах *(см. вариант №23)*. Затем идет пять строк,

---

177 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 62

Часть этого текста, со слов: «После обеда я не вмешивался…» кончая: «для моих отроческих мечтаний» впервые напечатана по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 401—403.

весьма близких к началу абзаца III редакции: «Но ни одним…», после чего в рукописи пропуск (страниц в пять). Затем идет текст, соответствующий абзацам III редакции: «То раз, стоя....» и следующему. Даем его в вариантах *(см. вариант № 24)*. Затем идет текст, близкий к трем абзацам III редакции: «Слабый ум…», «Из всего этого…» и «Однако философские открытия…».

Глава XX. «Володя». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после вар. № 21. Здесь (в I редакции) текст близок к тексту XX главы III редакции с начала ее и кончая словами: «le fond de la bouteille»[178] (в абзаце: «Володя с сияющим лицом....»). Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант №25)*.

Затем в I редакции идет место, близкое к тексту III редакции со слов: «Он обедает однако регулярно…» (в предпоследнем абзаце) до конца главы.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XXI. «Катенька и Любочка». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего концу XX главы III редакции. Здесь (в I редакции) сначала идет

---

178 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 63
[дно бутылки]

текст, близкий к первому абзацу XXI главы III редакции, после чего имеется фраза:

Одно было жалко это то, что у нея, Богъ знаетъ, откуда, привились дурныя манеры. Какъ не вѣрить послѣ этаго въ породу.

Затем идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Несмотря на то, что Любочка…» и до конца главы. В I редакции текст близок к тексту III редакции, но местами кратче последнего.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XXII. «Папа». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего XXI главе III редакции. В I редакции текст близок к тексту первых трех абзацев XXII главы III редакции, но кратче последнего. Затем идет текст:

Вѣрно всякій замѣчалъ, что даже въ одномъ родѣ игры у каждаго есть непремѣнно своя неуловимая особенность, какъ въ голосѣ, въ походкѣ, въ рукѣ каждаго человѣка, въ листкѣ каждаго дерева: но эта то особенность игры такъ отразилась до тончайшихъ оттѣнковъ въ игрѣ Любочки, такъ что, слушая ее часто, мнѣ случалось закрывать глаза и думать: вотъ открою глаза и увижу ее.

Затем в I редакции идет место, соответствующее тексту III редакции, начиная с абзаца: «Папа вошел в комнату....» и кончая словами: «останавливаясь посреди коридора (в абзаце:«– Вольдемар! скоро ли ты?»). Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант №26)*. Поперек этого текста идет помета: «Вас. сидитъ въ части».

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Текст рукописи, описанной выше под № 7 (см. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»“), представляет собою без начала главу, названную: «Странная новость» и намеченную 23-й в напечатанном выше перечне глав, написанном в конце рукописи I редакции (см. „История писания «Отрочества»“, стр. 352).

Текст страниц 120—129 рукописи № 7 помещаем в вариантах *(см. вариант №27)*. Кроме этого, шестой листок, страницы которого нумерованы 126, 127, дает более ранний, менее разработанный вариант конца напечатанного (вар. № 27) текста (со слов: «Пришло конец тому делу, что и платить надо...» до конца напечатанного), после чего идет:

Глава 24. Концертъ.

Бабушкѣ становилось слабѣе и слабѣе. Изъ креселъ она перешла уже въ высокую кровать съ подушками, обшитыми кружевами. Колокольчикъ и ворчливый голосъ Гаши еще чаще были слышны на ея половинѣ. 28 Апрѣля, когда мы пришли здороваться съ ней, и она дала мнѣ цѣловать свою руку, я съ тѣмъ болѣзненнымъ чувствомъ, которое испытываешь, находя что нибудь отвратительное въ людяхъ, которыхъ любишь, замѣтилъ, что рука

На этом рукопись обрывается. Это начало 24 главы близко к началу главы XXIII «Бабушка» III редакции, от которой больше ничего в рукописях не сохранилось.

Глава XXIV. «Я». Этой главы нет в рукописях ни I, ни II редакций.

Глава XXV. «Приятели Володи». В I редакции этой главе соответствует глава «Начало дружбы. XXX», стоящая после текста вар. № 26. Текст ее значительно отличается от текста III редакции, и мы помещаем всё, что сохранилось от нее в вариантах *(см. вариант №28)*. Дальше в тетради вырвано сколько-то страниц, а затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 29)*. Поперек начала текста помета: «Гробовщикъ», а поперек последних строк этого текста

написано: «Условіе говорить другъ другу все и никогда не говорить другъ про друга. Я говорю объ отцѣ. Онъ останавливаетъ меня». —

Первая часть варианта № 28 соответствует намечавшейся 24 главе (см. перечень глав в рукописи I редакции в „Истории писания «Отрочества»“ стр. 352) «Концерт», а вторая часть представляет собою как бы конспект глав 32 и 33 указанного перечня.

Глава XXVI. «Рассуждения». Этой главы нет в рукописях ни I, ни II редакций.

Глава XXVII. «Начало дружбы». Этой главы нет в рукописях ни I, ни II редакций.

История печатания «Отрочества» в «Современнике» 1854 г.

В архиве Толстого сохранилась почтовая квитанция:

«Росписка. В Букарестской Почтовой Конторе для отправления принято и в книгу Апреля 27 дня 1854 года под № 49 записано в С.-Петербург, Николаю Некрасову письмо и посылка с рукописью на 31 пиастр от Графа Толстого.

Взято: весовых 11 <руб.> пиа. 10 <коп.> па., страховых — руб. 14 <коп.> и пошлины 15 <коп.> па. серебром.

11—39 пар.

Почтмейстер (подпись).

За Помощника (подпись).»

Оцененная в три с лишним рубля[179] рукопись эта — «Отрочество». Письмо к Некрасову, посланное вместе с рукописью, не сохранилось, как не сохранилось и другое письмо к Некрасову, написанное Толстым 23 июня.[180] С нетерпением ждал ответа Толстой. В дневнике под 11 июля записано: «....я опять в самом затруднительном денежном положении: ни копейки, по крайней мере до половины августа не предвидится ниоткуда, исключая фуражных, и должен доктору. Не предвидится, я говорю, потому что нынче получил Современник и убежден, что рукописи мои сидят где-нибудь в таможне».

Только 24 августа, т. е. через четыре месяца после отправки «Отрочества», получил Толстой ответ Некрасова, о чем в дневнике записано: «Получил лестное об Отрочестве письмо Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий… гордился письмом Некрасова».

---

179 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 64

Турецкий пиастр равняется приблизительно 10 копейкам.

180 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 65

В дневнике под этим числом записано: «Написал письма… Некрасову…» Может быть письмо это и не было послано.

Редактор «Современника» писал Толстому:

Милостивый Государь Лев Николаевич,

Исполняю ваше желание и посылаю те номера Современника, в которых помещены ваши рассказы. — Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать, да и не совсем ловко говорить в письме и вам больше. Перо, подобно языку, имеет свойство застенчивости — это я понял в сию минуту, потому что никак не умею, хоть и попутное, сказать кой-что, из всего, что думаю, выберу только, что талант автора «Отрочества» самобытен и симпатичен в высшей степени, и что такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате, и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе. Я напечатаю «Отрочество» в IX или X кн. Современ. Не знаю, получите ли вы его — но он вам в Бухарест высылался.

Примите уверение в моем душевном уважении и преданности

Н. Некрасов

1854, Июля 10.

СпБург.[181]

«Отрочество» было напечатано в десятой (октябрьской) книжке «Современника» за 1854 г. (цензурное разрешение было подписано В. Бекетовым 30 сентября), на стр. 81—146 под заглавием: «Отрочество. Повесть», к чему было сделано (в сноске) примечание: «В «Современнике» 1852 г., № 9, помещен был рассказ под названием «Детство», без сомнения, оставшийся в памяти у читателей нашего журнала. Этот рассказ был собственно началом романа, которого общее заглавие «Четыре эпохи развития». Ныне мы представляем вторую часть этого романа, имеющую, подобно первой, интерес и как отдельное целое. *Редакц.*». В конце текста, вместо фамилии, инициалы: Л. Н. Т.

По выходе книжки в свет, Некрасов писал Толстому:

Спб. 1854, 2 Ноября.

Милостивый Государь Лев Николаевич,

Видно уж такова судьба Ваша, что и «Отрочество» в печати подверглось значительным и обидным урезываньям. Случилось несколько ценсурных историй, выговоров — и на ценсора нашего, как и на других, напал панический страх,

---

181 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 66

Альманах «Круг». Книга шестая, М. 1027, стр. 189—190.

в следствие которого он вымарал более, чем бы следовало. Само собою разумеется, что были употреблены все старания, чтоб отстоять что можно; к счастию, как Вы заметите, лучшие вещи все уцелели в неиспорченном виде. — Вещь эта произвела в читающем мире то, что называется *эффект*, а что касается литераторов, разумеется, смыслящих, то они сознаются, что очень давно ничего подобного не было в русской литературе. В самом деле, хорошая вещь.

Конечно, вам теперь не до писанья, но если б — сверх чаяния — вы что-нибудь написали, то это было бы для нас теперь вдвойне приятно. — Война подействовала у нас на всё, даже и на литературу, и нужно употреблять большие усилия, чтоб поддержать существование журналистов в это тяжелое время. Теперь время подписки, и после *Отрочества*, которое всем так понравилось, напечатание вашей новой повести в Современнике принесло бы ему пользу существенную.

Я пишу это письмо между прочим с тем, чтоб узнать от вас, куда послать Вам деньги за *Отрочество*. Я так давно не имею от Вас известия, что не решаюсь послать по старому адресу.

Примите уверение в моей совершенной пре-

данности

Н. Некрасов.[182]

Ни книжек «Современника» с «Отрочеством», ни писем от Некрасова Толстой не получал еще и 19 декабря 1854 г., когда писал Некрасову:

Милостивый Государь Николай Алексеевич.

Или мои или ваши письма или те и другие — не доходят — иначе я не могу объяснить себе вашего 6-ти месячного молчания, а между тем мне бы очень многое было интересно знать от вас. Современника тоже с Августа я не получаю.

Напечатаны ли и когда будут напечатаны *Рассказ маркера* и *Отрочество?* и почему не получаю я Современника? уведомьте меня пожалуйста об этом и письмом страховым, чтобы это было вернее. Адрес мой всё тот же: в Кишинев, в главный штаб Южной армии.... [183]

Получив это письмо 16 января 1855 г., Некрасов на следующий же день отвечал большим письмом, в котором объяснял, что посылал Толстому четыре письма, и что несколько дней тому назад

---

182 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 67

Там же, стр. 190—191.

183 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 68

Цитирую по подлиннику. См. «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Примечания составил Н. Ашукин», М. 1916, стр. 201.

Тургенев, уезжая в Москву, сказал Некрасову, что увидит там сестру Толстого и ее мужа, и Некрасов дал Тургеневу деньги за «Отрочество», прося послать их Толстому, если его родные знают верный его адрес. Об «Отрочестве» Некрасов писал: «Ваше «Отрочество» вышло в свет в Октябре 1854 г. (Его изрядно общипала ценсура, вымарав многое из первых проявлений любви в отроке и кое-что там, где рассказчик говорит об отце) и произвело то, что называется эффектом, т. е. некоторый говор в Петербурге. Что касается до литературного круга, то все порядочные люди единогласно находили эту вещь исполненною поэзии, оригинальною и художественно выполненною. Так как я пишу вам об Вашем «Отрочестве» уже в 3-й раз, то Вы извините меня за угловатость этих фраз, да я же и вечно тороплюсь — вот и теперь мне помешали дописать письмо. Мои приятели Тургенев и Анненков в восторге от этого произведения в таком же, как и я. (Это приписано через час)…

10-й № «Современника», где «Отрочество»… велю я завтра же отослать к Вам *по легкой почте* в виде посылки… Деньги тоже на днях отошлю к Вам, послал бы при этом письме, да не знаю, не

сделал ли уже этого Тургенев...».[184]

О гонораре за «Отрочество» писал 3 мая 1855 г. Толстому и Панаев, заменявший в редактировании «Современника» Некрасова, уехавшего весной 1855 г. в деревню: «Деньги, следовавшие Вам, отданы Некрасовым, если не ошибаюсь, через Тургенева Вашему зятю. Потрудитесь уведомить — получили ли Вы их».[185]

Толстой деньги эти, наконец, получил, о чем и писал Панаеву 14 июня 1855 г.[186]

История печатания «Отрочества» отдельным изданием в 1856 году.

История печатания книги Толстого «Детство и Отрочество», на основании записей дневника Толстого и писем к нему Д. Я. Колбасина, ведавшего издание этой книги, изложена нами в объяснительной статье I тома настоящего издания. Здесь же, в добавление к имеющемуся там, мы приведем места из писем Колбасина, касающиеся «Отрочества».

---

184 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 69

Альманах «Круг». Книга шестая, М. 1927, стр. 193—194.

185 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 70

«Красная новь» 1928, 9, стр. 215.

186 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 71

«Новый сборник писем Л. Н. Толстого» под ред. А. Б. Грузинского, изд. «Окто», 1912, стр. 1—2.

2 июня 1856 г. Колбасин писал из Петербурга: «... Вчера я возвратился из Москвы и нашел, к полному своему удовольствию, что «Детство и Отрочество» уже пропущены обязательным Бекетовым без всяких пропусков, кроме 28 строк из религиозных сомнений, начиная словами: «Всё это было бы смешно и забавно, если бы я не распространял своих сомнений и т. д. до — по ночам вставал и по нескольку раз перечитывал все известные мне молитвы...». Вот и весь пропуск, если Вы находите, что он не важен, то не для чего и тревожить Ковалевского.[187] Мне кажется, что пропуск этот нисколько не вредит целому, и если мы захотим постоять на своем, то это затянет дело надолго, пойдет на рассмотрение попов и т. д. и выйдет та же длинная история, что и с Муму Тургенева, а еще пожалуй и хуже. Во всяком случае жду от вас скорого ответа насчет этого пропуска...».

Не пропущенное цензором место находилось, конечно, в XIX главе окончательной редакции, рукопись которой была послана Толстым

---

187 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 72

Речь идет о писателе и государственном деятеле Егоре Петровиче Ковалевском (1811—1868), во время Крымской кампании состоявшем в штабе кн М.Д. Горчакова, руководившего обороной Севастополя с февраля по август 1855 г.

Некрасову. Рукопись эта не сохранилась, в сохранившихся же рукописях «Отрочества» этого места нет.

21 июня Колбасин снова пишет об этом же: «Писал я к Вам, Лев Николаевич, два письма, не знаю получили ли Вы их; если нет» то знайте, что «Детство» и «Отрочество» Бекетов пропустил без всяких помарок, исключая, кажется, 18 строк из «Отрочества» в *религиозных сомнениях*, что, мне кажется, ничуть не повредит целому и даже остальным *сомнениям*. Поэтому, не получая от Вас известий, я решился приступить к набору только на этой неделе…».

В дневнике Толстого под 13 августа имеется запись: «Написал письмо с поправками «Детства и Отрочества» Колбасину». Письмо это неизвестно, как неизвестны и поправки, посылавшиеся Толстым. Вероятно, в этом письме Колбасину Толстой просил прислать ему текст мест, исключенных цензурою при печатании «Отрочества» в «Современнике» и теперь появлявшихся впервые в печати; ему, очевидно, хотелось просмотреть эти места, а копии рукописи (с полным текстом повести), посланной в 1854 году Некрасову, у Толстого в Ясной Поляне не было. В ответ на это Колбасин пишет (20 августа): «Пишу к Вам, Лев

Николаевич, в кратких словах — очень занят. Деньги все получены, поправки тоже, кажется, можно будет обойтись без Цензора. Пропуски из «Отрочества» постараюсь прислать, хотя их очень много. Печатание началось, но я приостановил, ожидая поправок…».

Неизвестно, послал ли Колбасин Толстому, что он просил, а потому неизвестно, выправлял ли Толстой места, не попавшие в текст «Современника».

Из вышеприведенного письма Некрасова к Толстому от 2 ноября 1854 г. мы знаем, что «Отрочество» в «Современнике» подверглось значительным и обидным урезываньям, что объяснялось, как писал Некрасов, «паническим страхом» перед начальством цензора, вымаравшего «более, чем следовало».

Установить совершенно точно, что было искажено цензором в тексте, посланном Толстым Некрасову, в настоящее время невозможно, так как, с одной стороны, мы не знаем этого текста, с другой — как мы только что видели, Толстой что-то поправлял в тексте «Современника», а потому разночтения, даваемые последним по сравнению с текстом издания 1856 г., не всегда можно объяснить цензурными требованиями.

В 1876 г. Толстой выпустил в свет «второе издание» «Детства и Отрочества» в двух книжках в 16° (в одной — «Детство», 176 + 2 нен. стр., и в другой — «Отрочество» 140 + IV + 2 нен. стр.). Как значится на обложках второго издания 1877 г. «Книг для чтения», это — «новое дешевое издание, переделанное автором для детского чтения».

Переделка Толстым текста «Отрочества» «для детского чтения» выразилась в исключении из текста издания 1856 г. семи мест:[188] 1) исключена целиком VI глава «Маша»; 2) в главе VIII «История Карла Ивановича» в абзаце: «В жилах моих…» исключено со слов: «я родился шесть недель» кончая: «не любил меня»; 3) в главе IX «Продолжение предыдущей» исключено со слов: «Когда она *видела* меня» кончая: «весь задрожал»; 4) исключена целиком XVIII глава «Девичья»; 5) в главе XXII «Папа» в первом абзаце исключено со слов: «я с тем же искренним» кончая: «моральных страданий.»; 6) в той же главе исключены последние четыре абзаца (со слов: « — Вольдемар! скоро ли» до конца главы) и 7) в главе XXIV «Я» исключены абзацы: «Наблюдения мои» и «Когда

---

188 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 73

Текст «Детства» в издании 1876 г. не отличается от текста издания 1856 г.

молодые».[189]

Во всех изданиях «собрания сочинений» Толстого текст «Отрочества» печатался по тексту издания 1856 г. без каких-либо авторскхв изменений, как и печатается нами. В текст издания 1856 г., кроме указанных в «печатных вариантах» двух отступлений, введены три конъектуры.

Стр. 11, стр. 15 сн. — образовавшуюся — *вместо:* образовавшейся

» 14, « 14 св. — фаталистическою — *вместо:* фаталическою

» 17, « 7 сн. — предавался — *вместо:* предался

189 ПРИМЕЧАНИЯ (сноски): 74

В Архиве Толстого (Публичная библиотека СССР им. Ленина) хранится экземпляр издания «Детства и отрочества» 1856 г., подаренный в свое время Толстым тетке Пелагее Ильнишне Юшковой. По этой книге Толстой читал в 1876 г. «Отрочество» и отмечал, что нужно выкинуть для детского издания

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Содержание второго тома составляют «Отрочество» и «Юность».

Рукописный материал, относящийся к этим произведениям, довольно значителен.

Кроме общеизвестного текста окончательной редакции «Отрочества», в настоящем томе впервые печатаются находящиеся в архиве Л. Толстого два «плана» романа «Четыре эпохи развития» и два отрывка, представляющие собою первоначальные (до «первой» редакции) наброски «Отрочества».

Из печатаемых нами двадцати отрывков («вариантов») так называемой «первой» редакции «Отрочества» лишь пять опубликованы в 1912 году П. И. Бирюковым. Кроме этого, из неиспользованной П. И. Бирюковым «второй» редакции в настоящем томе печатаются семь отрывков.

Впервые нами печатается и глава из «Отрочества», названная в рукописи «Странная новость», не вошедшая ни в одну из сохранившихся редак-

ций «Отрочества».

Что касается рукописного наследия «Юности», то, кроме опубликованного в 1912 г. П. И. Бирюковым «плана» повести, в архиве Л. Толстого оказалась «первая» редакция «Юности», впервые печатаемая нами (полностью). Из «второй» редакции до сих пор было опубликовано П. И. Бирюковым лишь два отрывка, нами же печатается четырнадцать.

Наконец, имеется перечень глав «Юности» с оценкой их, сделанной автором после того, как повесть была окончена. Перечень этот впервые печатается в настоящем томе.

Напечатанная в «Современнике» «Юность» имела подзаголовок «Первая половина». «Вторая половина», как известно, не была написана, но в архиве Л. Толстого имеются рукописи, указывающие, что автор начинал работать над «второй половиной». — Это помещаемые нами два ее «плана», из которых один напечатан П. И. Бирюковым, и впервые печатаемая нами первая глава с началом второй.

М. А. Цявловский.
Москва. 23 января 1928 г.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (цаловать, скрыпеть).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»). Слова, не написанные явно по рассе-

янности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, не допустимых в печати, ставится в двойных прямых скобках цыфра, обозначающая число невоспроизводящихся слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [*1 неразобр.*] или: [*2 неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение

и зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются

(петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают:

* — что печатается впервые,

** — что напечатано после смерти Л. Толстого,

*** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и

**** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.